

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА:

«Голубой фонарь вечноной весны»

— Только учтите, что я не даю никаких интервью, не подписываю чужих статей, не делюсь творческими планами, не...

— Хорошо, мы просто поговорим...

— Приезжайте!

Как выглядит сегодня Катаев? Первой приходит на ум его фраза: «Время не имеет надо мной власти». И это так. Время не то чтобы пощадило, но как бы отступило от него: у калитки катаевского дома в точно назначенное время нас ждал хозяин — в клетчатой фланелевой блузе, мягких туфлях, делающих его шаги неслышными и легкими. Облик спортивный, подтянутый. Глаза настояренные, как бы вопрошающие, затем, в ходе разговора, постоянно меняющие выражение и даже цвет — то черные, то зеленые. Но все время с хитринкой, вот-вот их владелец выкинет какое-нибудь словесное «коленце». Впрочем, может быть, нам так показалось.

...Сел на веранде за стол, покрытый цветастой клеенкой, где в кувшине благоухал куст жасмина. Не букет, а именно куст. Сложил «домиком» пластичные, выразительные пальцы.

— Как начинается мой день? С работы. Пишу всегда утром. Вот уже много лет. А раньше, в молодости, писал по ночам.

...Южно-русский, черноморский говор. Глаза зеленые, оживляются. Кажется, что аромат жасмина становится еще острее...

— Впрочем, и сейчас иногда встаю, нет, вскакиваю по ночам, чтобы записать удачную фразу. Но работаю, повторяю, утром. Ведь и Толстой утверждал, что писать надо именно в то время суток, когда голова свежа и еще ничем не занята. Толстой утверждал даже, что различает, какие строчки написаны им утром, а какие днем... Какой главный мой творческий «инструмент»? Память! Ей я доверяю больше, чем всему иному — документам, архивным данным, свидетельствам очевидцев, даже книгам... Работаю так: сажусь за стол в кабинете и остаюсь наедине со своей Памятью. Передо мной — только чистый лист бумаги...

...Мы поднимаемся по деревянной лестнице в его рабочий кабинет. Стол средних размеров — не завален бумагами, но и не пуст. Книги, которые он читал сегодня и будет читать завтра. Справа — узкая, покрытая клетчатым пледом тахта, у изголовья, на маленьком столике — лампа с матовым абажуром.

Книг совсем немного. Они занимают одну небольшую полку перед письменным столом и другую — над тахтой.

— Моя библиотека — в московской квартире, в Лаврушинском переулке. Много моих книг у сына Павла. Здесь, в Переделкине, — или самое любимое, или самое нужное.

...Прижизненные издания Есенина, Маяковского, Олеси (королевича, Командора, ключика, если следовать именам, данным Катаевым в его последней по времени книге «Алмазный мой венец»); том Ричарда Хьюза; книга Вл. Орлова «Гаман» — о Блоке; издание Ираклия Андроникова.

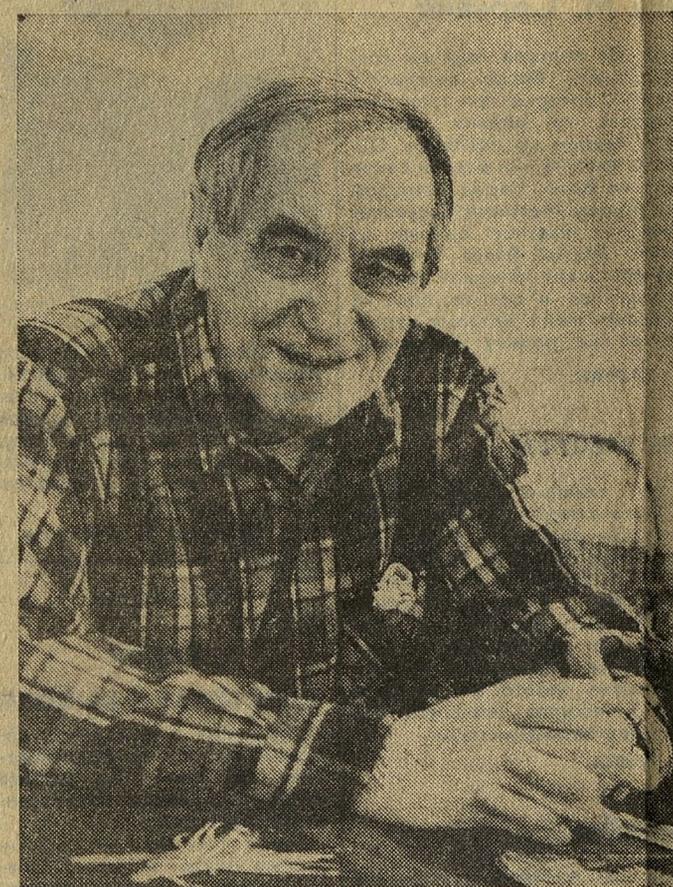
— А что вы читаете на ночь? — спрашиваю писателя, вспомнив опубликованное недавно в нашей газете эссе Мариэтты Шагинян.

Катаев протягивает книгу на французском языке в глянцевого обложке.

— Это роман о великом французском романисте, — говорит он. — Называется «Бонжур, мсье Золя». Автор — Арман Лану — мой собрат по Гонкуровской академии, почетным членом которой я являюсь. Правда, не могу сказать, что свободно читаю по-французски, приходится иногда прибегать к словарю... Что делает Лану? Берет прототип и слишком его загримировывает...

— Толстой написал свою Каренину без грима. Просто услышал, что какая-то женщина бросилась у водокачки под поезд.

У меня с самых детских лет было ощущение, что я нахожусь внутри какого-то



романа. И все окружающие — действующие лица.

Работая над «Алмазным венцом», я как бы пропускал все события и людей сквозь кристалл моей души. К точному, фотографическому, изображению не стремился. Кое-что придумывал. И все же это не роман. («Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки»). Это — книга о Революции, о людях, которые приняли Революцию и вращались в ее магнитном поле.

— А сумасшедший скульптор Брунсвик, изваявший бессмертные фигуры в парижском парке Монсо? Он плод вашей писательской фантазии?

— Не совсем. Он навеян образом парижского скульптора Цадкина.

— Как я уже упоминал, в работе главствовала (а точнее, единовластно правила) Память, помогающая свободно двигаться в материале. Я ничего не сверял с книгами и другими первоисточниками. Цитировал только по памяти, не смущаясь неточностями.

В одном месте (помните?) я цитирую сонет королевича — Есенина? Он в тот вечер был записан поэтом на обложке какого-то журнала. Номер этот считался утерянным. И вот, когда вышла книга, я неожиданно получил из Тбилиси от одного из читателей этот журнал и убедился в том, что цитирую не вполне точно.

...Память — загадочная вещь, но она способна превратить набор арифметически точных фактов в художественное произведение, выходящее далеко за рамки четырех правил арифметики.

...Из кабинета мы вновь спускаемся на веранду. Параллельно лестнице идет другая, запасная, на ступенях которой — папки, журналы, газетные вырезки.

Подумалось: может быть, катаевская легкость, раскованность, нарочитое отрицание хронологии — все это лишь кажущееся? Как бы угадав эти мысли, писатель говорит:

— В искусстве самое главное — воображение, первичность впечатлений, пропущенных сквозь Время. Писатель не должен старательно «вылизывать» написанное им.

Помните, у Толстого в «Анне Карениной» Левин увидел луну, похожую на кусок руги. А ведь это сравнение неточно. Ртуль распадается не на куски, а на шарики. Но сила воображения художника заставила нас видеть именно так, как видел он сам. А легкость, что ж? В большой мере это результат «литературных игр», которыми мы увлекались еще в 20-е годы.

Главное, повторяю, не хронологическая связь, не временная, а ассоциативная. С этих творческих позиций написаны все мои последние вещи. «Я слишком заражен прекрасным недугом мною же выдуманного мовизма...» Впрочем, не уверен, что не

изобретаю велосипеда. Такое было, например, у Золя.

— Вы начали так писать, кажется, начиная с «Маленькой железной двери в стене»?

— Полагаю, что хронологическая раскованность помогла мне глубже заглянуть в ту забываемую эпоху, увидеть живого Ленина с его мыслями, его окружением, его борьбой, его гениальностью.

— Читатели всегда с нетерпением ждали и ждут ваших новых книг, Валентин Петрович, и все-таки многие, судя по редакционной почте, вспоминают «Белеет парус одинокий», «За власть Советов». Телезрители вспоминают еще и «Фиалку», сравнительно недавнюю вашу повесть, так удачно экранизированную.

— Да, режиссер очень точно увидел эту вещь. И актеры тоже. В особенности Шатрова.

— Где зародился этот сюжет?

— Да здесь же, в Переделкине. Я получил письмо от одной моей читательницы. Внизу была приписка: «Если прогуливаясь по поселку, вы встретите старуху с непреклонным лицом, с белой палочкой в руках, обратитесь, пожалуйста, на нее внимание: очень интересный человек. Сейчас она живет в пансионате старых большевиков. У этой женщины очень трудная личная судьба: она не могла простить измену, вернее, предательство мужа, и вот на старости лет осталась одна, не примирившаяся, гордая»...

Остальное — плод моей писательской фантазии. Меня просто поразила эта история.

— Каково ваше отношение к жанру драматургии и вообще к содружеству литературы и театра? Мы помним вашу «Квадратуру круга», «Растратчиков»...

Катаев улыбается.

— Видите ли, я драматург неважный, серьезные пьесы у меня не получаются. Мысль транспонируется только в прозе. Писал лишь водевили. Правда, они шли довольно широко. «День отдыха», я слышал, и сейчас идет где-то во Франции, а в Нью-Йорке есть даже театр водевилей, который называется «Квадрат в круге».

— Вспомню блестящий мхатовский спектакль «Квадратура круга» — с молодым Яншиным, Ливановым, Бендиной. Ставил Горчаков. Почему у них получалось? ...Я говорю сейчас не только о своих пьесах... Потому, думаю, что они «видели» не только написанные диалоги, но и то, что заложено автором между диалогами, и играл это «между». Например, Яншин изображал доктора Гаспара в «Трех толстяках» Юрия Олеши. Там есть ремарка: «Стало темно, как в сундуке». И артист играл это чисто литературное сравнение: открывал на сцене крышку сундука, и создавалось впечатление крошечной темноты.

— Мне кажется, успех любого театра зависит от того, сумеет ли его режиссер точно выбрать «своего».

именно своего драматурга, как это было в старом МХАТе. Нынешние режиссеры представляются мне не литературными людьми. Они мало читают, а поэтому и не могут «открыть» своего писателя. Станиславский и Немирович-Данченко были друзьями Чехова, Бундина...

— Часто на афишах пишут: «Спектакль по пьесе такого-то», то есть произведение писателя рассматривают как некий полуфабрикат, из которого можно приготовить то или иное блюдо. Это неправильно. И это надо бы категорически запретить. Афиша (а она выражает суть явления) не должна унижать автора.

— Надеюсь, что найдется мой режиссер, который сумеет «увидеть» мои пьесы. Пока этого не случилось. Примеры? «Волны Черного моря» — на Киностудии имени Довженко, «Квадратура круга» в Московском театре имени Пушкина, — по моему, это не получилось.

...На подоконнике замечаю причудливые раковины, из глубины которых как бы доносится шум волн. На стене — яркая деревянная маска — явно заморский сувенир.

— Вы много путешествуете?

— У меня нет особого желания покидать Переделкино. Привык к этим соснам, этой тишине. Даже в своей московской квартире, в Лаврушинском переулке, бываю редко. Но вот недавно в составе делегации советских писателей побывал в США, встречался с американскими коллегами. Руководил нашей группой секретарь правления Союза писателей СССР Николай Федоренко. Было много встреч. Например, со студентами Стэнфордского университета. Огорчило, что они наши книги так мало знают. Когда разговор касался круга их чтения, они говорили примерно так: «Мы вообще ничего не читаем, кроме того, что предусмотрено программой изучаемого курса».

Меня это поразило. У нас совсем другая страна, иная система народного воспитания, которая начата Лениным и Горьким. У нас люди колоссально много читают, все знают, в том числе и американскую литературу. А 200 томов Библиотеки всемирной литературы — кладь мудрости народов мира, ставшей доступной миллионам советских людей! А там книги мало кто покупает. Лежат и никому не нужные книги Солженицына. Кончилась реклама — пропал интерес.

К тому же там книги очень дороги, как, впрочем, и все другое: номер в гостинице — 40 долларов, мясное блюдо 7—8 долларов...

...Наш разговор снова возвращается в Переделкино, касается семьи писателя. С женой Валентиной Петровицей, которую он называет Эстер, мы уже познакомились. Она несколько раз заходила на веранду и принимала участие в разговоре.

— А ваш сын, Павел? Ведь он тоже писатель?

— Да, он недавно написал повесть «Один в море». У меня, кроме него, — взрослая дочь и внучка Валентина — Тина, студентка третьего курса факультета журналистики.

...Однако пора прощаться. Солнце, скрытое плотным облаком, кажется голубоватым.

«Ах, этот голубой фонарь вечноной весны»... — вспоминается фраза из книги «Алмазный мой венец» (кстати, и само название — строчка из вычеркнутой Пушкиным сцены «Бориса Годунова» — глубоко символично).

— Вечная весна... — задумчиво говорит Катаев. — Она есть всегда, даже когда ее не видно. Сейчас ветки деревьев зеленые, но даже когда они черны и похожи на скелеты, в них теплится живая зеленая жизнь. Я хотел сказать в своей новой книге, что люди, которых я знал, с которыми вместе встретил волшебное время Революции, живы и вечны, как никогда не умирающая Весна.

Валентина ЖЕГИС.
ПЕРЕДЕЛКИНО.
Июль 1978 г.

● В. Катаев.
Фото Е. Халдея.